

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

ОРГАН МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР

№ 84 (162)

Четверг, 15 июля 1954 года

Цена 40 коп.

УЧИТЕЛЬ ЖИЗНЕННОЙ ПРАВДЫ

Борис ЛАВРЕНЕВ

Впервые я встретился с Антоном Павловичем Чеховым в 1905 году.

Эта дата не описка. Мне было тогда тринадцать лет, и с драматургом Чеховым мне выпало счастье встретиться в зале городского театра моего родного города Херсона. Прошел уже год со смерти Антона Павловича, но в день этой памятной встречи я увидел его более живым, чем когда-либо из живых, живым и на всю жизнь полюбившимся больше всех. Я видел спектакль «Три сестры», и еще по-детски смутно, но с необыкновенной остротой ощущения почувствовал в происходившем на сцене живого человека, автора пьесы.

До этой встречи я не раз бывал в театре и к моменту посещения этого незабываемого спектакля мог считать себя завзятым театралом. Я видел уже пьесы Шекспира и Шиллера, Гоголя и Грибоедова, видел и опыты тогдашних «светил» драматургии, всяких Рышковых, Щегловых, Потапенков и других плодотворных ремесленников отечественного производства, и массу переводной дребедени, и различные душещипательные мелодрамы. Но ничто не затрагивало мальчишеского ума и сердца. А чеховская пьеса буквально потрясла меня.

Еще не понимая, в чем суть этого необыкновенного впечатления, я всем существом ощутил, что в этот вечер на сцене прошла передо мной жизнь. Жизнь без прикрас, без выдумки, реальная, простая и до того правдивая, до того подлинная, что за каждым из персонажей пьесы я видел людей, окружающих меня, узнавал их, и вместо Мани, Ирины, Ольги, Вершинина, Тузенбаха, Чебутыкина, Соленого в моей памяти возникали знакомые фигуры русской провинциальной жизни на грани XIX и XX веков. Конечно, тогда я не мог еще ясно сформулировать свое восприятие спектакля, — сознательное отношение к нему возникло и сложилось гораздо позднее, но великая правда искусства и жизни, гениальная простота и правдивость чеховского таланта нашли прямой путь к сердцу тринадцатилетнего мальчика.

С того далекого дня Чехов есть и будет для меня самым дорогим, самым близким, самым любимым автором, другом, учителем.

В последующие смутные и трудные годы русской жизни после революции 1905 г. я пересмотрел по нескольку раз и «Чайку», и «Вишневый сад», и «Дядю Ваню», неоднократно перечел «Иванова», которого мне не удалось видеть на сценической площадке, узнал Чехова-прозаика, прочтя «Остров Сахалин», «Палату № 6», «Стеньку». И, обретя с годами способность к анализу явлений, я стал понимать неповторимую огромность и силу воздействия художественной правды Чехова.

Глубоко прав был Горький, сказав однажды, что Чехов «ничего не выдумывает от себя...». Творчество Чехова было целиком полярно положению, провозглашенному в те годы вождем символистов Сологубом — беру кусок «жизни серой и грубой» и творю из него «сладостную легенду». Чехов не творил никаких легенд. Он брал куски жизни русского общества в предреволюционный период и показывал эту жизнь такой, какой она была, с великой силой таланта обостряя и обобщая ее отдельные факты и события, словно ножом хирурга вскрывая гнойные язвы этой жизни. Он показывал читателю и зрителю самые тайные, скрытые от посторонних глаз извилины человеческих душ и душонок.

Вся драматургия Чехова была той малой каплей воды, в которой, подобно солнцу, отражалась в сконцентрированном виде окружающая писателя действительность. Необычайным было умение Чехова в малом показать большое, в замкнутых рамках драматического произведения до предела тиннизировать явления и человеческие образы и характеры. В пьесах Чехова подымались и разрешались острые, болезненные проблемы, волновавшие общество его эпохи.

Если проанализировать «Трех сестер», пьесу, так потрясшую и взволновавшую меня в детские годы, то мы увидим, что в тесном семейном кругу, в крошечной ячйке человеческого общества отражены сложнейшие общественные процессы и взаимоотношения людей, сконцентрированы мысли и желания, надежды и разочарования, лучшие и худшие качества русской интеллигенции, так, как они сложились накануне прихода революционных бурь.

Разве сестры Маша, Ирина и Ольга не собирательный портрет русских женщин эпохи общественных сумерек, женщин, светлые мечты которых постепенно хиреют и гаснут в душливой атмосфере провинциального мещанства и обывательщины, надежды которых катастрофически разбиваются о быт, терпят крушение, лишаются крыльев и бессильно влачатся по земле?.. И разве этот мучительный лейтмотив, проходящий сквозь всю пьесу, этот отчаянный стон сестер — «В Москву! В Москву!» не выражает всей безнадежности их надежд? Москва в представлении сестер является маяком недостижимого счастья, символом светлого и прекрасного, но сами сестры принимают бесплодность своей мечты, ибо и мечта о Москве в те годы не несла с собой для них выхода из царства мрака и безнадежности.

Разве образ Тузенбаха, мечтающего вырваться из дубовой и опупяющей обстановки царской армейщины в трудовую жизнь, в которой человек может оправдать свое гордое звание человека, не является обобщающим, типическим образом лучших людей русской интеллигенции, уже чувствующий интуицией приближение очищающей грозы? Разве Чебутыкин не типический портрет другой части интеллигенции, потерявшей веру во все на свете, не живущей, а прозябающей, махнувшей рукой на все и безвольно плывущей по течению, воспринимая все окружающее с ядовитой и злой иронией отчаявшихся скептиков? Разве Соленький не типический образ армейского бурбона, осатаневшего в провинциальной одуре, озлобленного, ненавидящего людей и жизнь, каких тысячами рождала и воспитывала царская армия?

В семейном кругу трех сестер с исчерпывающей остротой и полнотой отражена вся эпоха, вся жизнь большой общественной прослойки, отражена с огромной чеховской теплотой и грустной иронией.

И так во всех пьесах Чехова. Астров и дядя Ваня, Иванов, Треплев и Нина Заречная, Соня, Раневская и Гаев — изумительные по художественному мастерству и глубине проникновения образы бескрылых и бессильных людей, способных только на медленное и безвольное угасание в чад бесплодных мечтаний, сожалений о прошлом и пассивных надежд на какое-то, неясное им самим, лучшее будущее, туманно выражаемое в заключающих «Дядю Ваню» словах Сони: «Мы отдохнем... мы увидим все небо в алмазах...».

Где их ждет этот желанный отдых? Где увидят небо в алмазах эти люди, бесконечно уставшие от обывательщины, мелких драг, пустых грез и бесконечных душевных самоистязаний, — этого не знает ни Соня, ни кто-либо другой из героев чеховских пьес, кроме разве Тузенбаха в «Трех сестрах» да Трофимова и Ани в «Вишневом саду».

Но если герои Чехова не знали, где адрес счастья, где можно найти единственный достойный человека отдых — трудовой отдых, то это предчувствовал, хотя и смутно, сам Чехов, угадывавший уже веяние очищающей бури, которая навсегда выметет из жизни словоблудящих профессоров, людоедствующих Соленьких,

наживающихся на чужом оскудении Лопухиных. Чехов видел приход нового поколения, молодого, живого, полного жизненных сил, кипящего желанием активной борьбы с темными силами. И среди бессильных и прекрасодушно-вялых персонажей впервые появляются в «Вишневом саду», в этой лебединой песне Чехова, новые люди, представители той молодежи, которой суждено было войти в поколение, на чью долю пало в корне изменить русскую жизнь. Это студент Трофимов и Аня, предчувствующие и со всем энтузиазмом молодости приветствующие новую жизнь, жизнь, перестроенную и освеженную творческим дыханием революционных бурь.

Нет никакого сомнения в том, что если бы безжалостная рука смерти не отняла у нас Чехова в пору наивысшего расцвета его творческих возможностей, героями новых пьес Чехова стали бы именно люди типа Трофимова и Ани, люди с активными характерами строителей и создателей новой жизни, мечты которых, возникающие из реальных возможностей, не гасли бы, как искры ночного костра, на лету, а воплощались в жизнь, создавали бы прочную базу для построения человеческого трудового счастья.

В какой-то литературоведческой статье, автора которой я не имею желания помнить, я прочел, что образ дяди Вани в чеховской пьесе автобиографичен. Это измышление — глупейшая и грязнейшая клевета на Антона Павловича. Чехов был не прекрасодушным непротивленцем, а смелым и деятельным бойцом с жизненной неправдой, с уродствами капиталистического общественного строя. Отставному полковому писарю, состряпавшему эту пакость, нужно было бы вспомнить и огромную по размаху общественную деятельность Чехова в области народного просвещения, и его врачебную деятельность в Мелихове среди крестьян, а главное то, что этот уже носивший в себе зачатки своей роковой болезни человек нашел в себе силу и энергию для далекого и трудного путешествия на страшную каторжную окраину царской России — на проклятый остров страданий Сахалин, о котором он написал поразительную по силе активного гнева и разоблачения книгу, взволновавшую всю Россию.

Недаром так душевно любил и так высоко ценил Чехова Горький, недаром этих двух гениальных русских людей связывали тесная сердечная дружба и взаимное уважение. Трибун и боец, Горький чувствовал в Чехове родственный характер. Оба они любили народ и верно служили ему и его счастью.

Полвека прошло с того дня, как телеграмма из Баденвейлера принесла нам черную весть о том, что Чехова больше нет среди нас. Но для меня, как, верно, и для многих моих товарищей по профессии, как для всех советских людей, Чехов остается живым учителем правды и душевной чистоты, таким, каким я встретил его сорок девять лет тому назад на спектакле «Три сестры».



Памятник А. П. Чехову, установленный в Ялте в 1953 г.
Фото В. Руйковича.